

Гибборимы

Железная дорога всегда отталкивала Ерю: не только из ясного понимания возможного риска, но и сами железные столбы... само железо отвлекало студента от чего-то важного. Железо грязное и горячее, оно укалывает и режет грубыми корками ржавых камней, выросших на бордовых, вставленных в землю толстыми колоннами полосах: оно похоже на застывшую, покрытую маслянистой чёрной плёнкой руду, на отвердевшую окоченелой синеватой болью плоть. По бултыхающимся тяжестью небес шпалам мчались поезда, и были они хуже путей, ибо находилось в них более людей, чем на сливающихся к земле тихим рябым шёпотом рельсах. В одно мгновение воинский состав промелькнул мимо Соттевильской станции. Глаза человечества были выколоты своими же руками; подобно поезду, все неслись, распиная, насилая, грабя и не видя за то никакого наказания: человек посчитал, что свобода, данная из любви Господа, родилась из благородного героизма человечества, когда на деле тот отсутствующий взгляд, манкированный до бессловия отупевшим человеком, был единственно возможным теперь наказанием: в мгновение то люди отвернули от себя действие и правдивый взгляд Господа; так завершился период исторической справедливости.

Даниил, единственный друг Ери, родился в том же городе, где сейчас они оба проживали с переменным успехом; о нём, как и о большей части современного человечества, тяжело точно утвердить нечто одно: студент-третьекурсник не совершил в своей жизни подвигов, не отличился особенными недугами или аскетизмом и не имел, в общем, никакой идеи или явственного силой стремления души. За тем же ему сопутствовали вполне обыкновенные всем иным людям ошибки, говоря откровенно, принадлежащие исключительно его авторству. Довольно дурно подготовившись к выпускным экзаменам, Даня, прежде способный, хотя и не выдающийся мальчик, обрёк семью свою на траты, которых можно было избежать; осложнялось это также тем, что он, откровенно малодушничая, не желал поступать в любой удобный университет. Даня захотел учиться в лучшем учебном заведении города, и ещё менее, чем несправедливость к достаточно небогатым родителям, он ощущал и понимал болтающуюся бесполезность подобного образования: Данниил поступил на менеджмент. Вынудив сговорчивых, ослабленных некоторыми событиями родителей впасть в долги, он не только выбрал достаточно несодержательную и забавную специальность, но и решил на втором курсе, что преподаватели к нему несправедливы, а сам он окончен. Благополучно закрыв только две сессии и завалив ещё одну, он просидел дома с полтора месяца и ушёл в академический отпуск, которого был, верно, недостоин. Девятнадцатилетний праздный бездельник, вполне удобно припавший к шее родителей и ничем, кроме весьма малоинтересного гуляния, не занимавшийся, прожил так целый год. На протяжении этого

года, что удивительно, он не испытывал угрызений совести или горячего при крайней той невозможности желания начать что-либо делать. Даниил был совершенно конгениален своей лени и накопившейся за отсутствующим действием тупостью. Происходило это именно из того, что в подобном положении труд стал бы действием, но не привычным всем продолжением прежде известной неудачи: даже они, пусть и достойными поступками, обязаны были не выделяться среди других.

Несмотря на пока не ввалившую его в долги и крайнее уныние череду ошибок уже в двадцатилетнем возрасте, Даня был крайне зауряден и в невозможности отнести себя к кому-либо. Будучи тогда достаточно бездейственным субъектом, он всё же оказывался способен на работу и дело, однако за эти непродолжительные лета многое часто устраивалось в уме его очень нескладно: то он решал увлечься одной только идеей и прослыть в кругах друзей философом лишь от неспособности заткнуть в себе фонтан этих мыслей, то фиксация разрежённого рассудка его останавливалась на определённом труде, отчего-то якобы мешающем всему иному в жизни молодого парня. Своей бесхарактерной неприметностью Даниил удачно мог показаться человеком грамотным или дельным именно из того, что культурное знание о профессионалах и типах характеров представляет обыкновенно самую обобщённую, едва связанную с реальностью пошлость.

Когда мальчику было десять лет, его старший брат утонул, спасая Даню из глубины реки, куда его резко начало уносить течением. Даниил не смог жить с этим знанием, как не смогли и его родители: за совершенно неприметной, самой обыденной внешностью начали проявляться в семье страшные вещи: те, что не обсуждаются и что запрещено обсуждать. Страшнее была не ситуация, но умолчание: то общее безумие безверия, глубокое отрицание уже явленного факта; всё это не заживало в слезах и молитве, но было открыто глубокой страшной дырой, которую после они решили неловко замазать пустым местом. Тогда, кажется, и появился в Данииле и родителях его упор на заурядность: подобно Ере, он так же боялся путающего общую несодержательность, реализуемую в уме Иеремии стремлением не погубить близких своим проклятьем, события; однако, в противовес умалению Иеремией существа своего в мире, Даниил стремился чаще именно воспроизвести норму, дрожащим бестактным испугом отвлечь от стонущей гулом тишины. Он без чувств лежал лицом моим на земле; он не прикоснулся ко мне.

Пару раз среди лёгкого малозначительного разговора Еря сказал Дане, очевидно, сильно раньше сформулированную вещь, так даже понравившуюся ему, что он всё же решил озвучить исключительно собственную, выражающую решение только его души форму. Иеремия сказал, что русский человек — тот, кто согласен на скорое предательство и рад ему; и мысль эта была скорее комплиментарного, нежели критического характера, но Даниил,

видящий опасность в любом отхождении от приличного культурой и социальным одобрением, с этим резко не согласился и начав опровергать означенное дерзостью; общем, выдумывая аргументы по ходу их говорения.

Даже в значительном риске Даня и семья его выбирали наиболее бесцветное решение, и не нужно при этом думать, будто оттого восстановившийся студент двадцати одного года, теперь обучающийся на третьем курсе, мог быть назван современником скучным или калечным: напротив, он представлял позволяющую дурачливо воплощать ресурс истраченного на лекциях терпения праздность именно в том формате, в котором её реализовывали как опустившиеся, так и успешные люди; вся жизнь его стремилась к притаптыванию поведения своего к самому общему неприсутствующему образу, что чаще принимался карьеристами за идеал.

Студент не имел в себе клятвы и честности или отверженности и смелости: страх его защищал именно дрожащего перед тем пустым местом ребёнка, от которого с тех пор Даниил далеко не отошёл. Где уместно было сказать гротескную нелепость, он говорил её; где обыкновенно люди молчали, Даня тихой дрожью выискивал, как бы выделиться ещё меньше. Он боялся своих ошибок, как и фактурной случайности: в семье и в разговоре Даня никогда не говорил о личных трагедиях и страшных неудачах; когда же он сталкивается с этим, не говорит решительно ничего: одно пустые, отвергающие вину и признающие непредвиденную случайность слова. В каком-то смысле именно по смерти брата Даниил всё потерял, ибо уже не был способен на действие; равно как и молчание: именно тогда он начал притворяться человеком. Он сдался; если Еря был, определённо, оскорблённым обычно называемым судьбой, то его друг, вероятно, сам оскорблял её вполне индивидуалистической невнимательностью к жизни, которой так боялся Иеремия.

Еря не верил, что возможно чему-то получиться; если всё же дело шло по плану, то, конечно, как он мыслил, близится бедствие оттого сильно большее в своём значении, чем первая победа. Иеремия был тихим: часто он боялся говорить; один из сильнейших людей оказывался самым незначительным и внешне беззащитным, когда Даниил на фоне молчаливого друга всегда без умолку болтал громкие несодержательные вещи. Порой он даже верил в это, однако то было, думается, чистой случайностью.

— Человеческое тело и земной мир есть некоторая условность: я уверен, что родится человек, уже сделавший решение, и потому ничего уже не изменится. Неуязвимость по сути своей равна решимости: или, вероятно... честности.

Даниил был на год старше Ери и учился в другом университете на совершенно другой специальности: они чрезвычайно удачно соединялись в своей дружбе, по крайней мере, в сущностном её воплощении, да с тем встреча и общение их произошли без каких-либо

видимых предпосылок. Известно сейчас одно: дружба эта прочна даже при той неразборчивости в знакомствах общительного Дани, что невозможно игнорировать или не видеть; Иеремия и Даниил снимали на двоих однокомнатную небольшую квартиру, куда сейчас и ехали на электричке. Железная дорога притянула их поздним временем после достаточно продолжительной прогулки по пляжу, на который друзья хотели поехать уже несколько месяцев. Наконец, мартовские холода сменились апрельским теплом, избыточным прогулке, да пока недостаточным плаванием и пляжному загару.

Опущенные высокими бледными холмами пески прогибались под тяжестью травы, сжатой корнями пока стоящих, медленно теряющих в весе деревьев. Днём этим ровные голубые полотна неба только чуть слышно трепали удачно оказавшиеся здесь лица. Иногда валяющийся у сухих кустов мусор скорее приятно блестел, чем вызывал отвращение к человеку: здесь были люди, и то хорошо. Действительно хотелось, чтобы в местах этих проходил беззаботный, позабывший уже о тревогах, боли и издевательствах человеческий шаг. Песок смешался с более крупными камнями, под лёгким жаром словно сминающимися гладкостью своих вершин, а едва выделяющаяся на склонах трава смягчившимися ветками снималась твёрдостью зелёной ткани, редкими местами уже покрывающей рябоватыми пятнами пляж; золотистые, проваливающиеся своей тёплой резвой неизбирательностью крупинцы песка часто шевелились по воздуху свистящим ленивым шёпотом. Всё здесь было иначе: место это столь хорошо и красиво, что нет людей, живших бы одновременно в подобном месте и в городе; слишком непригляден он и шумен, чтобы житель его видел равной возможностью расположиться и здесь, почему пляж и становится исключительной, ограниченной гипотетичностью своего существования вещью: той, во что можешь поверить только в отдых, в редкое разрешение себе восстановиться или хоть ненадолго приостановить малоприятную, мотивируемую скорее давлением извне деятельность.

Солнце рассекало плешивыми лужами белых блестящих звёзд не только выпавшие из корней деревья, но и морскую, плещущуюся расходящимися в широких зыбких кругах пузырями воду. Горизонт стирался под светящимся синеющим в глубине небом углом: над морем, казалось, хотелось устремиться взглядом к городу, да неуязвимые неограниченностью власти своей лучи солнца сжирали прежде видный образ удивлённо выпученного с левой стороны города.

До пляжа мы шли недолго: приехав сюда на той же ржавой, мокрой от кислого человеческого пота электричке, нам удалось застать почти полностью пустые дороги. Быстро расслабившись от треска горячего, обдувающего лица наши воздуха, мы сняли обувь и ходили уже без неё. Сперва непривычное щекотание асфальта отдавалось едкой неуступчивой дрожью в остальное тело, но к тому мы быстро привыкли, набирая обороты и совершенной

ловкостью маневрируя между камнями и иногда встречающимися бугорками скатанной в высокие клубни земли. Время от времени возникающие птицы пищали едва приятным пением, однако все лесные и причастные к нему звуки отвердевали в нас чуть нелепым несвоевременным уважением к месту, очевидно, более дающему, чем отнимающему. Путь был прозрачен в своей невозмутимой краткости: скоро мы перешли на еле влажный, уже не ударяющий наши стопы, подобно асфальту, а мягко вбирающий в себя вес проходящих мимо людей грунт. Скоро вода начала проявляться за каричным наслоением высоких стволов, и только проступивший под лямками рюкзака пот мог показать естественное усердие в пройденном без каких-либо затруднений пути. Бросая робкие взгляды на будто всегда наполненную кусочками сколотого стекла холодную землю, я добрался до смешанных с землёй и, наконец, до настигших голые ноги мои частых песчинок.

Выйдя на пляж, мы столкнулись с отчётливо атакующим нас несвободой удовольствия жаром. Я и Даня сняли футболки и пошли, теперь держа вещи свои исключительно в руках. За нами протягивалась длинная дорожка наших и только наших неглубоких шагов; вероятно, мы всё же не прогадали, решив в понедельник пропустить довольно незначительные пары и направиться ближе к трём дня на давно известный, прежде закрытый для нас занятостью на учёбе и работе пляж. Поездка была делом решительным; так долго мы жадно обгладывали идею эту, что осталось или непременно бросить все дела и поехать, или забыть о ней насовсем. Так, иногда делая непродолжительные перерывы на воду, мы нашли самый продуктивный и приятный путь

Наглаженные теплом волосы и еле окрасневшие руки уведомляли о затянувшемся поиске места: верно, шли мы даже слишком долго, и то происходило не из сложности обнаружения приличного места в целом, но нашего нежелания останавливаться, ведь то купировало бы обзор остального пляжа. Наконец, найдя хоть обликом сходную с концом его границу, вытопанную выходящими лезвиями частых стволов, мы осели на одном месте. Спавшие с нас рюкзаки резко облегчили начинающую накапливаться пока едва заметной тяжестью физическую усталость, и хотелось даже нырнуть в воду и уплыть подальше, но та была, что я ещё еле висящей надеждой проверил ногами и рукой, вполне себе ледяной. Иногда обращаясь нехитрым заинтересованным взглядом к Дане, я не обнаруживал в нём стремления поплавать или прикоснуться к морской воде: казалось, в моменты те он коченел, наотрез отказываясь дышать. День сегодня чудесный.

Вдалеке иногда я замечал красные, сливающиеся с зеленоватыми и белёсыми полосками иссохшего сена прутья молодых деревьев: словно только недавно уложенная сухими кочанами трава складывалась подобными волнами, иногда выпирая стройными домиками и худыми спавшими возвышениями. Медленно вылезающие насекомые, ещё не

успевшие в полной мере распространить власть свою на окружение пляжа, одно очень редко проявляли признаки жизни. Ропотной неслышностью жужжащие почковые моли тихо поглаживали своими мягкими крылами возбуждённый силой солнца воздух, а часто втыкающиеся в стопу небольшие сухие ветки похрустывали под мокрыми, обутыми в тонкий слой падающих песчинок ногами; хлюпающие выдавливающимися, уменьшающимися к отсоединённому от оранжеватой пятки верху тканями дыры быстро затягивались лужицами вкатывающейся из земли воды, и всё было так послушно и тихо, что покой тёплого воздуха, думается, сам гудел шипящими искрами.

Как мы окончательно обосновались тут, стало несколько холоднее, да проявилось то исключительно в необходимости надеть уже подсохшие за нашими приготовлениями футболки. Не солнце потускнело бледностью спавшего жара, но мы чуть охладели, всё же несколько переоценивая апрельскую погоду.

Даня достал прежде небрежно торчащие из рюкзака обрызганными временем кончиками карты: увидев это, я несколько отяжелел, полагание его, однако, приняв. Часто друг мой во многом повторялся: обнаружив одну особенность во вполне заурядном деле, он приметно повторял то при любой удобной возможности. Возможно, Даня сам более всего понимал неинтересность занятий, которыми обременял в общении других людей, но до дурного то никогда не доходило, почему он и был всегда достоин внимания; по крайней мере, так я рассудил. В играх и любых вещах, итог в коих хоть сколько-нибудь зависел от случайности, я оказывался всегда по-смешному далеко от выигрыша; Даня давно знал и видел доказательство этой теории в игре в карты, однако столь его это удивляло, что он, видимо, решил оправдать нескончаемые попытки научным интересом, устремляющимся к доказательству обратного. Я знал сложные стратегии и хитрости, но даже самое открытое жульничество мне никогда не помогало. Карты были самым простым способом занять неловкую всегда болтающему Дане тишину: мы присели к еле вдавливающемуся под нами песку и постелили старый, лоснящийся кривыми твёрдыми нитями плед. Параллельно игре, в сущности своей совершенно вторичной и малоинтересной, мы разговаривали: поскольку Дане уже тяжело стало самостоятельно искать поводы для говорения, карты, главно для того и взятые с собой, нам в этом помогали. Нередко меня смущала необходимость подобного отвлечения, обязательного распространения внимания нашего при гулянии на второстепенный объект, чаще только помогающий снять между нами неловкость. Тот именно факт, что она всё же возникала между мной и моим единственным другом, порой несколько отвлекал от молчаливой бездельной радости, да и в том каждый раз я сталкивался с вещью, в которой виновен сам или виновно моё присутствие.

Так, я перестал сетовать на непокорённую мне близость с другом, поскольку сам являлся из раза в раз причиной довольно постыдных неловких okazji, выкрикивающих в ту полость, где должно было сформироваться и отвердеть доверие шуткой и самым обыденным разговором. Всегда мне казалось, что именно в таких малозначительных и чаще небрежных бытовых вещах должен проглядываться тёплый свет настоящей дружбы: когда и в едва заметном искривлении улыбки ты способен услышать вполне развёрнутое мнение друга, на то уже давно переставшего распространяться. Передо мной и Даней всегда была высокая преграда, однако сильнее виднелось во всём бедствие, которое я напряжённой произвольностью притягивал.

— Не думаю, что честность приведёт к чему-то... иногда мне кажется, что...

— Да нет, ты сам посмотри! — изнеженная солнцем рябость лица Дани заставляла его щуриться и словно немного сдавливаясь нахмурившимися глазами; и во взгляде этом: во взгляде достаточно подвижном и весёлом, столь пустом и туповатом при всём, просвечивалась совершенная незаинтересованность в разговоре, только насильно вынуждающем показывать розовые, изогнутые последовательно повторяющимися вмятинками дёсна. — Я честный человек, и вот! и где же в этом ты видишь недостатки?

— Г-гм...

— Если б ты был честен, не пришлось бы вечно молчать, извиняться и пояснять что-то. Честность моя содержится, кажется, в невербальном: вот, она, как бы, и не всегда осмыслена, но... ну, обращусь я к тебе, и ты сразу это почувствуешь! сразу поймёшь, что я к тебе всерьёз обращаюсь, что я серьёзный человек.

— Ну... наверное, да. Может, так и есть...

— Ты бы перестал так говорить: чуть слово, и сразу неуверенность, сразу... — голос, которым Иеремия отвечал вопрошающим, представлял собой тихий, нежный и, что никак не мог усмотреть его друг, добрый тон: в голосе Иеремии всегда можно было увидеть страдальческую, еле кошунственную жалость к ближнему и вину за себя; несмотря на то, он нередко брал на себя невидную ответственность согласия с собеседником, обыкновенно в жизни его говорящим совершенную ерунду. — Сразу такой, ты прости меня, чуть глупенький вид.

Даня засмеялся: смех покатило его к песку, из-за чего под футболку студента зарылись достаточно значительные ямки начавших только более щекотать его песчинок. Несмотря на внешнюю небрежность Даниила к Ере, они являлись настоящими друзьями, и то только извращало внешний вид их дружбы, что один замалчивал свою боль и смеялся над ней, а другой был из тех, кому мог попасться определённо стремящийся ко взрыву в его руках выигрышный лотерейный билет.

Друзья с целый час провели исключительно за разговорами и проигрышами Иеремии: Даниил не верил, попросту не хотел верить в отсутствие исключений в подобной закономерности; ему всегда казалось, будто друг притворяется или случайно наводит на себя вид подвижника. Еря был тихим: думается, не воспалый друг в нём разговор, студент совершенно бы перестал говорить; несмотря на это, в голове его были довольно интересные вещи, которые не выделяли его личность, но могли сказать, о чём он в недавнее время читал. Тогда он стал рассказывать о гибридах, равных в чём-то нефилимам и также отвергнутых ковчегом. Вполне самостоятельным умом он иногда формулировал новые или почти новые вещи: например, сейчас он в шуме лопающихся под ветром полых палок предполагал, что были, подобно животным, нечистые виды человека, которых шестисотлетний Ной не имел права спасти. Не говоря точно и окончательно о метафоре исполинов в синодальном переводе, Еря как бы упускал самую заметную вещь, которую Даня попросту не знал.

Когда Даниил слышал о предмете, что не мог и никогда не стремился понять, он гордым умозрительным упором глядел на совершенно неожиданно выбившего его из прежде самовосхвалительной речи собеседника и начинал обзлеться, да именно в том: именно в том была его слабость, что злость являлась действием и решением необычными простому дружескому разговору, и потому он только обиженным призором продолжал слушать вещи, общем, крайне простые, что Еря был бы рад пояснить; однако то значило бы признать слабость ума, несовершенство его: когда самым обычным, самым приличным человеку он считал именно совершенство.

В голове Даниила содержалось неочевидно много тревог и даже больше, чем у Иеремии, ненужных размышлений по поводу себя в разговоре и быту. Вероятно, Еря понимал это и обижался не на случайные грубость или излишнюю эмоциональность, но на недостаточность честности, недостаточность откровенности в обращении с ним.

Думаю, драконы могли выжить, если вовсе не один дракон был за всё время... радужный... радужный нечистый человек, драконорождённый! славно это я придумал; будь я Даней, таким инициативным и смелым, в шутку бы организовал его поиски: такое, думаю, было бы более действенным способом заинтересовать друга и вовлечь того в разговор, раз уж он тебе так необходим. После Того радугой нагло и жадно пользовались.

Через час от начала игры мы перестали концентрироваться на чём-то одном: так стали проводить время, что любое дело было только связующей разговор условностью. Ближе к вечеру решили посоревноваться в стоянии у края воды: я убеждён был, что и в бездействии меня ожидает беда; Даня же в слова мои не верил. С целую минуту мы прерывистым соревновательным волнением дышали несильным прохладным ветром, гладкими локонами

проходящимся над морем: небо уже горело румяным вельветом, и вокруг нас начали появляться люди; к вечеру, видимо, они всё-таки освободились от дел и доехали до пляжа.

С каждым мгновением всё тяжелее становилось ожидание беды, которая, безусловно, случилась бы; лично я себя не отождествлял никогда с загорелым сицилийским крестьянином, мне всегда хотелось верить, что удастся всё-таки решить последствия обязательного бедствия, что завершится всё... что завершится всё благополучно. Несмотря на то, сейчас я совершенно ясно понимал приближающуюся угрозу, и готовая к защите стойка, которую я принял в смешливых комментариях Дани, была теперь, верно, необходима. Песок покрывался едко ударяющей в глаза золотистой радужкой, а деревья темнели своими мощными, сливающимися с землёй основаниями; постепенно шум придвигался к нам, и каждое движение, каждый звук я старался контролировать, однако невозможно было знать, в отличие от плесканий рыб, всех невидимых резвых изменений в пролетающих мимо нас маленьких сухих листочках, и. Сверкнувшая холодным бульканьем вода ударила вверх, из неё показалась довольно неповоротливая рыба с широким, отблёскивающим серебристыми пузырьками розоватых пятен телом, и так высоко она взлетела, что казалось, будто густеру эту или леща тянули сверху синеватыми, быстро крутящимися тонкими нитями; и тут, единственно и наблюдая за водой в относительном отдалении, я увидел подлетающий сияющим огоньком кусок чего-то, уже потерявшего цвет за приближением ко всё белеющему солнечными бликами морю. Довольно резко ударил ветер: то ощутили даже я и Даня, уже вместе заметившие странно прыгнувший в нашу сторону объект; рыбу, вероятно, ветер мощно дёрнул с обеих сторон, отчего она и уже увереннее дрожащий мелким сверчком кусок, кажется, подожжённого листа взмыли выше и подлезли к нам с самого неожиданного направления, что я, тем не менее, ещё мог видеть внимательным испугом. Коснувшись Дани левой рукой, я обратил его к происходящему уже значительно ближе, и тогда звонкий страшный хлопок пронёс между нами запах столь кислый, словно горькие, вздутые арбузами большие опухоли возле нас разорвались мясистой осколочной гранатой.

Услышав звук пискляво бухнувшего взрыва, Иеремия потянул в правую сторону друга Даниила, куда вместе с ним и упал.

Сперва горячечно недоумевая, скептически настроенный студент увидел в плотной подошве лежащей рядом обуви прошедшую почти насквозь рыбную кость. Мужчина, стоящий в десяти метрах от друзей, двадцать секунд назад, сбрасывая с сигареты пепел, уронил его усилившимся ветром на длинный, выстроенный тонкой нитью едва касающихся сегментов шлейф из сухой травы, соединённой в воздухе случайным подпрыгиванием невзрачной силы холодеющего дыхания апрельского побережья. Эта трава перевела огонь с ещё горящего пепла на взлетевший к ним сухой лист, рядом с которым удачно оказался подобный ему, а после того

— ещё один; подобное повторилось дважды. Так огонь с сигареты стоящего довольно далеко мужчины почти дошел до удивительно необычно прыгнувшей из воды рыбы; рыбу эту силой двух встречных ветров подкинуло ближе к Даниилу и Иеремии. Резко ударивший рыбу воздух иссушил часть её поверхности, благодаря чему огонь смог перейти на небольшой уголок стёртого плавника, и здесь именно: неизвестно отчего конкретно, но плавательный пузырь подлетевшей к ребятам рыбы не просто вздулся, но взорвался, так и не контактируя напрямую с огнём; так всё совпало, что разmozжённая взрывом рыба выстрелила в Даню и Ерю, подобно пулям револьвера, отколовшимися рёбрами. Иеремия, не зная ещё наверняка источника потенциальной опасности, спас себя и друга от летящих в сторону их бёдер костей; Иеремия не был уверен, что движения эти нечто изменят, однако знал он, что настоящее их положение притягивает беду.

— Знаешь, обычно небрежные люди пахнут котлетами... Ну, я не против котлет: закономерность просто такую заметил.

— Может быть... не знаю. Не замечал.

— Я думаю, ты бы и не отличил небрежного человека от нормального: слишком добрый ты, не стал бы так отделять одного от другого. Да и; да и что с тобой говорить? ты из тех, кто в университет в рубашке и брюках ходит.

Друзья уже почти подошли к железной дороге, отдающей своим проклятым резным лязганьем: солнце начинало окончательно скрываться за синеватыми тенями пока ободранных деревьев. Тихий шёпот касания голых, уже почти полностью освобождённых от усохшего в пути песка стоп прерывался гудением теперь чаще проезжающих мимо студентов машин; иногда вместе с ними шли другие люди, приехавшие на пляж позже и проведшие там времени гораздо менее, да тех смелой инициативностью Даня оббегал, оставляя Ерю вторым пилотом, смиренно соглашающимся с его натянутой непоседливой весёлостью.

— Да я бы их, может, и причту отдал бы: на самом деле, такая душевная моя осторожность, играющее несколько против меня желание не привлекать внимания внешним видом, чаще подводит отсутствие чисто физической подготовленности к опасности... в штанах удобнее от рыбных костей уворачиваться.

Душное тарыхтение скоро подъехавшей к недолго ожидающим друзьями электрички оставило сильно уставших ребят стоять, но и в том они, видимо, сохранили душевный подъём. День прошёл отлично. Когда студенты подъехали к вокзалу, Даня, аргументируя решение тем, что мудрый правитель будет щедро тратиться на праздники именно из дороговизны бунта, настоял на заказе такси, что довольно необычным расточительным манером улыбающийся Еря поддержал. Осмуглевшее приятной прохладой небо держало под собой ещё таящие активно начинающимся озеленением деревья, и скоро бьющие дорогу лёгким зудом колёса

побитой машины скрипнули у их дома. Даня оскалился Ере: тот ответил другу такой же непринуждённой довольной улыбкой.

Небо гудело: небо гудело жемчужинами падающих к земле тел несправедливо оскорблённых. Радуга переставала поддерживать дугообразную форму; теперь она покрывала тканью одежды их, и только один выделялся отсутствием напыщенного растяжками живота. Ты же не проси за этот народ...